

Александр СЕКАЦКИЙ

## СВОБОДА ПОД ПОКРЫВАЛОМ

Господствующий дискурс о свободе разделяется на два равномошных потока. Первый из них, экзистенциально-политический, рассматривает свободу в ракурсе ее дефицита как нечто такое, чего всегда не хватает и за что следует непрерывно бороться. Параллельно идет второй поток, который предлагает научно-реалистический ракурс, и там свобода, прежде всего как свобода воли, неустанно разоблачается в качестве иллюзии, после чего ее робкие (на территории науки) защитники пытаются отыскать для нее хоть какое-нибудь прибежище.

В связи с этим особого внимания заслуживает неожиданная мысль, высказанная Лейбницем в небольшой работе «Новая система природы», мысль, которая, собственно, и послужила побудительным мотивом для написания данного текста:

«Вместо того чтобы говорить, что мы свободны только по видимости и настолько, насколько это достаточно для практики (как это думали многие очень умные люди), должно сказать скорее, что мы только по видимости действуем принужденно, а по всей строгости метафизических выражений находимся в полнейшей независимости от всех других творений»<sup>1</sup>.

Этот неожиданный поворот — в прямо противоположную сторону от того, «как думали многие очень умные люди», — поначалу кажется просто парадоксом ради парадокса, которые вошли в моду уже в эпоху постмодерна (Бодрийяр, в частности, выступил тут истинным мастером), но если задержаться и задуматься, то много интересного вытекает из этого как бы вскользь брошенного замечания Лейбница. Если мы откажемся изобличать «мнимосвободные» акты, которые в действительности, «при более тщательном рассмотрении» окажутся строго детерминированными, а вместо этого начнем отслеживать детерминацию, проводимую контрабандно и задним числом — каузальность, приписываемую исходно случайным актам, то как раз тогда перед нами предстанет истинная картина дел человеческих, с ее гиперосмысленностью, прагматичностью, детерминизмом, которые в значительной мере являются маскировкой случайных, произвольных последовательностей. И даже повседневной свободы в достаточно широком диапазоне, которая почему-то боится или не хочет предстать таковой.

---

Александр Куприянович Секацкий — философ, писатель. Родился в 1958 году в Минске. Окончил философский факультет ЛГУ. Кандидат философских наук. Доцент кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ. Автор многих статей и книг, в том числе «Щит философа» (СПб., 2016), «Философия возможных миров» (СПб., 2017). Лауреат премии Андрея Белого (2008) и Гоголевской премии (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

<sup>1</sup> Лейбниц Г.-В. Соч. в 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 279.

Попробуем принять такую точку зрения, чтобы убедиться, оправданна ли она. Итак, мы больше не считаем, что наши свободные акты при ближайшем рассмотрении окажутся прагматически детерминированными и однозначно встроенными в то или иное действие. Дело обстоит если не с точностью до наоборот, то, по крайней мере, далеко не так. Что это значит? Ну, например, вот что. Пираты, кондотьеры, солдаты удачи и разного рода «землепроходцы» иной раз готовы *честно признать*, что их в основном интересуют деньги. Они скажут: ну, надо же как-то зарабатывать на жизнь — то есть не станут прикрываться романтикой и мы не услышим от них ни единого намека на трансцендентное... Прежде мы готовы были в таких случаях сказать: что ж, по крайней мере, они честны перед собой и перед нами. Но теперь именно в этом мы им не поверим: а что если этот пират, *честно признающийся*, что больше всего на свете его интересуют пиастры, невольно пытается одурачить и нас, и самого себя? На самом деле он забывает кое-что более важное: соленые морские брызги, норд-норд-вест, несущий в этих широтах угрозу, внезапные крики чаек, свидетельствующие о том, что берег близок, и приключения, особенно те, когда к доле умения присоединяется доля удачи. В этом скрываемом диапазоне субъект был *свободен*, но чтобы избежать расспросов и уточнений, он готов признать, что его влекла нажива.

Или вот торговец на каком-нибудь восточном базаре. Он вынужден часами сидеть там день за днем, чтобы свести концы с концами. Он, конечно, хочет повыгоднее и побыстрее продать свой товар — кто бы сомневался? Мы. Это мы теперь начинаем сомневаться. А что если ему просто хочется поговорить с покупателями, перекинуться словечком-другим? Он любит эти незатейливые разговоры ни о чем, любит торговлю как процесс даже безотносительно к полученной выгоде. Где еще он найдет столько человеческого общения как не в этих торговых рядах? Но как можно в этом признаться? Вот и приходится каждый день тащить с собой корзины с товаром и ссылаться на суровую необходимость, которой подчинена его повседневность...

Таковы лишь два примера, по-своему подтверждающие справедливость предположения Лейбница, что «мы только по видимости действуем принужденно», а на самом деле достаточно свободны — и в своем ближайшем поступке, и в своем следовании далекому зову, идущему из Трансцендентного.

\* \* \*

Мы еще увидим, что подобных площадок замаскированной свободы гораздо больше, чем могло бы показаться. Вот наука: она привыкла отыскивать и регистрировать закономерности: уже исходя из одного этого, *свобода воли* так или иначе представляет собой вызов дисциплинарной науке, даже если ученый как частное лицо остается приверженцем свободной воли. Тогда перед нами всего лишь самый распространенный разрыв в так называемом научном мировоззрении: во всем остальном следует думать и поступать так, как предписывает Наука, но свободу воли все-таки жалко. В крайнем случае пусть *вера* в свободу воли, по крайней мере моей собственной воли, останется маленькой постыдной тайной.

Как бы там ни было, вопреки частным мнениям ученых вердикт науки в этом отношении однозначен: все, что мы называем свободным, мы с таким же успехом можем назвать неведомым или еще не объясненным — и саму свободу воли в первую очередь. Что же касается *объясненного* наукой, оно выглядит понятным, хотя, быть может, и не сразу: некоторые объяснения могут показаться натянутыми. Особенно это касается объяснений вчерашнего дня, которые сегодняшняя наука отвергла. Но теперь мы

можем спросить, следуя интуиции Лейбница: а нет ли в них, во всех научных объяснениях вообще, перебора закономерностей как своеобразного родового проклятия, возложенного на науку? Предначертанный удел науки в том, чтобы преувеличивать степень детерминизма, сгущать краски, и каждое научное объяснение есть сгущение красок закономерного — но по-разному и в разной степени. Поразительно, но житейское знание, которое обвиняют в неправомερных обобщениях («все женщины таковы»), в основе своей всегда допускает *и так, и эдак*, возьмем ли мы знание рыбака, грибника, охотника, мы всюду обнаружим, что за «феноменами» резервируется куда большая степень свободы, чем это принято в науке, и вряд ли это потому, что житейский здравый смысл менее наблюдателен. В сфере своей ответственности это вполне адекватное знание, позволяющее отлично ориентироваться в мире.

Почему же тогда феномены науки подчиняются более строгой закономерности? Все дело в том, что наука выделяет идеальный объект, представляющий собой как бы схему, «скелет» реальных объектов, и во многих случаях то, что справедливо для скелета, окажется справедливым и для каждого из эмпирических объектов, обтянутых кожей случайности, ситуативности и амортизации. Во многих, но не во всех. Поэтому для перехода от идеальных объектов к объектам, окруженным облаком шансов, стохастическим разбросом, то есть именно кожей случайности, существуют различные таблицы поправок, собственный сопромат для каждой отдельной области. Наука склонна игнорировать ту неподчиненность, которую проявляют полностью воплощенные индивиды по отношению к научным идеализациям.

За непокорность того или иного конкретного индивида наука не отвечает, сам способ ее зрения таков, что она и не видит в свои приборы наглых бунтовщиков. Чтобы объект стал *научным*, он должен пройти несколько процедур очищения, которые в этом качестве как раз не рассматриваются. В теоретическом отношении это абстракция, то есть обособление феномена от всего налипшего к нему, можно сказать, от любой обремененности существованием. В практическом смысле это *подготовка препарата*, в сущности, та же абстракция, но «рукотворная». Сюда же относится усреднение результатов, устранение того, что можно назвать сбоем измерений. Таким образом, предмет должен быть подготовлен к включению в научную картину мира, его очищают и обряжают, как обряжают покойника, и сгущение закономерностей оказывается несомненным результатом таких процедур.

В собственном дискурсе науки очистительные процедуры рассматриваются так же, как и избавление от предрассудков, причем результат избавления примерно один и тот же: там, где допускали свободу и некую «собственную волю» воплощенных феноменов, там теперь видны четкие причинно-следственные связи. Другое дело, что субъекты, точнее, актанты этих связей, не совсем те, которые присутствовали в живой жизни, в полной воплощенности, одетые в облако шансов и собственных версий. Теперь они препарированы, неприкрыты и голы, и картина мира будет тем научнее, чем больше в ней представлены именно такие феномены. Очистительные процедуры являются частью науки, но все же некой стыдливой частью, которую не принято лишней раз поминать. Обычно просто говорят: наука наконец выявила закономерность там, где прежде все казалось хаотичным, исполненным предрассудков и т. д.

Таким образом, конвенциональная природа научных феноменов стала простой условностью, по умолчанию принимаемой как нечто естественное. Из такого положения вещей вытекает множество следствий. Прежде всего это высвобождение различаемых регистрируемых наукой «скелетных форм» прямо в реальность. Далее — зачистка избыточной воплощенности, равносильная торжеству чистой функциональности.

Трактовка избыточности собственных версий в качестве неисправности и так далее. И все же. Коллапс волновой функции, который постигает все объекты макромира, благодаря науке оказывается «несколько преувеличенным» и уж тем более таковым воспринимается. И в итоге очевидной становится правота Лейбница: атакуя повсюду «мнимую свободу воли», которую наука призвана развенчать и свести к строгому детерминизму — что, собственно, и означает *объяснить*, разум в итоге эту самую свободу маскирует и выражает ей недоверие повсюду, где это только возможно.

\* \* \*

В отношении явлений или феноменов, составляющих в совокупности опыт, все понятно. Все явления сведены в континуум, а значит, зачищены и отфильтрованы. Они по определению соединены в последовательность или в единую цепь, связывающую ошейники детерминизма, наброшенные на каждый объект в форме явления (в кантовском смысле). Континуум пополняется благодаря применению той способности суждения, которая позволяет зачислить в состав явлений надлежащий фрагмент реальности — или отвергнуть его как нечто невразумительное. Способность суждения ответственная за рубрикацию мира.

И завербованные, принятые таким образом в состав явлений феномены беспрекословно подчиняются принципам детерминизма, ученым остается лишь подобрать для них подходящий ранг субординации. Связанная, замаскированная свобода остается как бы внутри тюрьмы без права выхода (хочется сказать «выхода на свободу»), и это прежде всего означает, что она лишена права на самопредъявление и вытеснена в качестве погрешности, предрассудка, «фолк-психологии» (Харман) или просто в качестве «ненаучности»..

В каком-то смысле в этих заключенных ноуменах можно опознать и кантовские вещи в себе. Традиционно считалось, что статус «в себе» означает недоступность познанию — и только. Мы теперь можем подтвердить данную характеристику, добавив при этом, что *не только*. «В себе» указывает еще и на тюремное заключение, на ограничение и даже на лишение свободы, на то, что вещи в себе, будучи неведомыми безымянными сущностями, должны являться по распоряжению хозяина (познающего или трансцендентального субъекта) только в тюремных робах явлений. Что ж, скажем так: 400 лет со времен Галилея ноумены томились в заключении, а потом пришел Бруно Латур и дал им свободу. Он признал их актантами и актерами и указал на активное присутствие и сотрудничество в делах человеческих. У каждого из заключенных есть люфт, некая собственная площадка в зоне неразличимости для трансцендентального субъекта, так что если этому субъекту прибавить зоркости... в общем, оптика АСТ для этого и была разработана — мы еще обратимся к этому революционному событию познания.

\* \* \*

Ограничение свободы ноуменов в целом прошло успешно, если угодно, это можно назвать и триумфом науки. Вещи подчинились, их свобода была признана лишь кажущейся и всецело совпадающей с «остаточной непознанностью». Вещи, до тех пор, пока они были «не онаучены», обладали слишком большим количеством измерений: тут и *мана*, и причастность воле богов, и зачаточная самостоятельная витальность, а в целом — слишком большой объем воплощенности, чрезмерно густое облако шан-

сов-протуберанцев... Впору было воскликнуть: слишком широк разгул свободных стихий, не худо бы и обуздать...

Что ж, задача была успешно решена: обуздили, обуздали, онаучили, переформатировали в объекты, подлежащие исследованию, в «препараты», и включили в реестр явлений. Но ведь оставался еще человек, субъект своей собственной непокорной воли. Требования науки к *этой* вещи в себе были ровно теми же, и сформулировал их со всей точностью и язвительностью Достоевский в «Записках из подполья»: слишком широк человек, не худо бы и обуздать... Наука, понятное дело, взялась за выполнение и этой задачи, и взялась со всей серьезностью. Начиная с эпохи Просвещения, с французского материализма XVIII века трехсотлетние систематические усилия были направлены на то, чтобы выявить всю машинерию человеческого в человеке от клеточной физиологии до экзистенциального измерения, в котором осуществляется выбор самого себя. Этот выбор в конечном итоге был признан свободным, однако только в том случае, если он *правильный*. То есть если избраны прогрессивные ценности — свои в эпоху Огюста Конта и Клода Бернара, которую застал Достоевский, и свои собственные в эпоху неолиберализма, главное — чтобы они всякий раз были прогрессивными. Ради такого случая и именно для этого случая можно было даже признать свободу воли. Главной мишенью, впрочем, стала свобода в повседневной жизни, в картине будней, там, где я могу сделать то или это, могу выпить третью чашку кофе или отправиться на выставку почтовых марок, целый день лениться, терзать себя сомнениями, сгруппироваться в единстве воли, последовать зову либидо или отклонить этот зов... Вот здесь, в этой сфере, наука не жалела усилий и изощренности, чтобы продемонстрировать, что все эти действия лишь кажутся свободными, на самом же деле каждое из них задействует определенный причинный механизм и, следовательно (тут головокружительный прыжок), подчинено собственной необходимости. Именно эту необходимость и следует привлечь в качестве убедительного объяснения, какой бы она ни была в каждом конкретном случае. Пусть эта детерминированность состоит из сплошных клочков и обрывков, все равно в совокупности они будут составлять ту самую рациональность, которая противостоит кажущейся свободе...

Так осуществлялся и по сей день так выглядит подбор приемлемых объяснений. Если ты решил позавтракать, так это потому, что выделились пищеварительные соки и/или медиаторы клеточного метаболизма сигнализируют о необходимости восполнить запасы калорий. Воспылал страстью к женщине? Объяснение ищи в каталаминах, эндорфинах и тестостероне. Почесываешь в затылке, размышляя, как лучше поступить? Что ж, твоей рукой управляет поперечно-полосатая мускулатура, а ею — иннервация, эффекторные сигналы центральной нервной системы. Ты не смог бы даже рукой пошевелить, если бы не эти вполне пригодные для научного объяснения импульсы. Какая уж тут свобода — одна видимость.

Забавный ход рассуждений. Он не кажется абсурдным лишь потому, что все вокруг и мы сами основательно онаучены. Ну ладно, допустим, наш персонаж перестал чесать в затылке, потому что иннервация поперечно-полосатых мышц прекратилась. После этого он решил съездить в баню, сел в свою машину и приехал. Встретил там знакомого бихевиориста и рассказал ему, что задействовал свободу воли и принял решение посетить баньку. Тому пришлось терпеливо разъяснять нашему бедолаге, что свобода воли здесь совершенно ни при чем, напротив, необходимые каузальные звенья четко просматриваются: «...потом твой автомобиль повернул направо. Что ж, это произошло потому, что у него имеется рулевая тяга и трансмиссия» — и так были разобраны по пунктам все сочленения данного действия, приведшие к посеще-

нию бани. Для свободы воли места действительно не осталось. Но конечно, и у нашего героя не достало терпения, чтобы выслушать объяснения всей цепочки до конца.

Таким образом, бихевиоризм преуспел в изобличении видимости свободы, так что теперь ясно, отчего и почему мы прогуливаемся, поворачиваем, поднимаем руку, чешем в затылке — это оттого, что мы располагаем всеми соответствующими физиологическими механизмами. Впрочем, лучший образец подобного научного объяснения был дан еще 200 лет назад не кем иным, как Александром Сергеевичем Пушкиным в эпиграмме на князя Дундукова, назначенного куратором тогдашней Академии наук:

В Академии наук  
Заседает князь Дундук.  
Говорят, не подобает  
Дундуку такая честь.  
Отчего же заседает? —  
Оттого, что жопа есть.

Как точно определена поэтом действующая причина заседания — а вы говорите о какой-то свободе воли... Конечно, эпиграмма Пушкина решает эту проблему лишь попутно, в ней содержится и намек иного рода на причину неподобающего возвышения г-на Дундукова, но и без этих «тонкостей» перед нами стандартное бихевиористское объяснение.

Впрочем, продвинутый бихевиорист и борец с видимостью свободы, пожалуй, скажет, что одного только наличия органа недостаточно для каузального объяснения и необходимо еще указать функцию и механизм ее задействования — вот тогда наша мнимая свобода воли будет развенчана, а исчерпывающая причина действия указана.

Особенно популярен сегодня пример с поднятием руки. Кто принимает это решение? Может быть, Я, свободный субъект, суверен собственной свободной воли, как говорит Ницше? Ничуть не бывало, решение принимает мозг: тщательные эксперименты доказали, что прежде чем я приму якобы свободное, непредопределенное решение, поднять ли мне руку или оставить ее в покое, в моем мозгу уже активируется соответствующая зона: *сам Я* лишь исполняю команду, содержащуюся в этом импульсе, ну и озвучиваю действие как результат «собственного» решения: «Захотелось, понимаешь ли, поднять руку» — чем ввожу в заблуждение и себя, и окружающих. Ну ничего, современная наука им объяснит, почему поднимают руки, прогуливаются по парку и заседают в академиях...

\* \* \*

Таковы возражения против свободы воли в сфере повседневности, в области, так сказать, «мелкой моторики». Ну а если укрупнить масштаб, так, чтобы в фокусе оказалась сфера ответственности за человеческое в человеке? Как обстоит дело с экономическими решениями, с пространством политического, с экзистенциальным измерением, с миром поступков?

Казалось бы, проще всего с экономикой, уж здесь-то рациональные, прагматические мотивы вообще не должны вызывать сомнения. Однако, если правду сказать, вызывают. Потому что, если хорошенько присмотреться, непременно углядишь хвостик события, никак не согласующегося, например, с выгодой.

Вот, например, реклама: что может быть яснее и прагматичнее желания сбыть товар? Однако, присмотревшись, мы вскоре заметим кое-что странное, явно не вписывающееся в логику чистогана. Например, желание производителя товара увековечить свое имя: желание, отнюдь не сулящее непосредственной выгоды, а то и идущее с нею вразрез. Кроме того, реклама, как уже не раз отмечалось, решает задачу укрепления корпоративной солидарности (мы из Microsoft, и мы лучшие!), ну а художник в качестве создателя рекламы так и норовит решить свою творческую задачу, далеко выходящую за рамки чистой выгоды. Или опять возьмем навскидку какой-нибудь базарчик, наведем на него фокус в обширном континууме пространства-времени, — пусть это будет базар в Багдаде X века. Мы слышим, как на все лады каждый торговец расхваливает свой товар. Они заговаривают с каждым покупателем, с любым, проходящим мимо. Потенциальные покупатели охотно откликаются, но, как правило, так и остаются потенциальными. Зато вполне удовлетворяется жажда разговора, и в какой-то момент мы снова спрашиваем себя: а не было ли этого мотива в числе изначальных? Просто по каким-то причинам он скрывался и скрывается под покрывалом меркантильности... Что же, такова свобода под покрывалом...

Но если уж важнейшие процессуальности сберегающей экономики оказываются «не совсем» подчиненными законодательству Маммоны, то тем более это касается общественной жизни в более широком, интегральном охвате. Там покрывало, под которым прячется свобода, имеет множество прорех, прямо-таки зияющих разрывов. Эти прорехи проходят и сквозь рациональность, и сквозь дежурную имитацию свободы, сшиваемую всегда из модных на данный момент прогрессивных идей.

Сколько их уже сменилось со времен европейского Просвещения да и русского нигилизма! Но та самая изначальная свобода, видимость которой так не нравится научно-прогрессистскому разуму, что он изо всех сил стремится погрузить ее в невидимость, это свобода, конечно, не имеет прямого отношения к господству идей, выражаемых Желябовым, Софьей Перовской или Гретой Тунберг. Суть этой избыточной, а на самом деле тщательно избываемой свободы лучше всего выразил Достоевский во всем своем творчестве, и прежде всего в «Записках из подполья». Речь идет о неискоренимом сопротивлении стремлению обуздать и обуздать *слишком широкое* сознание.

Допустим, что этот мотив не самый явный, тем более учитывая невероятные усилия, прилагаемые для того, чтобы его затушевать. Очень может быть, что в сфере слишком человеческого преобладает мотив наезженной колеи — он же *мотив домашних тапочек*. Его перебивают и на какое-то время даже напрочь отключают «основные инстинкты», например позывные либидо. Однако если иметь в виду постоянно действующую стихию — и при этом постоянно противодействующую как силам инерции, так и тотальности любой идеи, то это как раз свобода в форме универсального негативизма — та самая, которую неустанно исследовал и воспевал Достоевский. Она импульсивна и многообразна в своих проявлениях. Она явлена, а порой и заявлена как бытие-вопреки: вы, значит, все решили, как будет относительно меня целесообразно, как взаимно полезен разумный эгоизм, как построить общество, где выгода каждого будет соблюдена. Все решили, как лучше — только меня не спросили. Так вот же: не будет на то моей воли! Не буду я шагать с вами в ногу и подпевать в такт! Я поступлю и буду поступать вопреки и вашей выгоде, и даже своей собственной выгоде. Ведь я, в конце концов, человек, то есть свободный человек, что одно и то же. Этот универсальный, беспричинный или, скорее, допричинный негативизм и является самой глубинной манифестацией свободы. Здесь можно опознать ту же по своей интенсивности пульсацию, что встречается в квантовом мире — и вот теперь она в экзистенциальном

измерении, где посредством этих челночных движений сшивается субстанция человеческого в человеке. В мире среднего, то есть как раз в том диапазоне, что традиционно именовался *фюзис* или *natura*, эта пульсация укрощена (так называемая редукция волновой функции) или погребена под завалами отработанного времени.

Сюда мы еще вернемся, пока же достаточно заметить, что эта вырывающаяся из-под покрывала или прорывающаяся его свобода, бесспорно, доставляет немало трудностей. Это она заставляет открыть заветную, запретную дверцу и обречь себя на смертельный риск или на верную смерть. Она проявляет себя и проявляется как каприз прекрасной женщины, способный разом обрушить сотни спокойствий вокруг. Негативизм в отношении всякой рациональности, точнее, всякой слишком настойчивой рациональности может проявляться как момент абсолютного произвола, как «дурь» и как *выверт*, если использовать прекрасный термин Достоевского.

Нередко такая пульсация квантовых глубин принимает форму автотравматизма и самоосквернения, так что приходится не просто локализовать ее по ту сторону добра и зла, но порой даже рассматривать как неистребимую прививку зла в любой благой воле.

Нетрудно представить себе, сколько праведников с недоумением обращались к Богу по этому поводу: почему же так, Господи?! И что он мог ответить? Разве что развести руками и сказать: другой свободы у меня для вас нет...

И теология тут так и не нашла подходящего решения, предпочитая почем зря тревожить врага рода человеческого. Но здесь воистину приходится прибегать к настоящему диалектическому аттракциону, ибо ведь и вправду было бы нелепо прославлять выверт как таковой. Или, например, культивировать самодурство или хотя бы поощрять его. Но одновременно приходится четко заявить: если выверт невозможен вообще, если он принципиально исключен в качестве сокровенной манифестации человеческого в человеке — то тогда не уцелеет никакая свобода, просто исчезнет стихия, заслуживающая этого имени. А значит, не уцелеет и человек. В непонимании этого «обстоятельства» едины и слишком богобоязненная, бескрылая теология и дешевая моралистика, которые непрерывно и в унисон поют одну и ту же фальшивую песенку о том, что «настоящая, истинная свобода неразрывно связана с ответственностью», с гуманизмом, с добротой, с сочувствием, с... с чем еще? Ах, да — с инклюзивностью. Словом, если обобщить, то она, эта «истинная свобода», всегда будет совпадать с господствующей на данный момент моральной установкой. Будет простым дополнительным бонусом для всего передового или таковым признанного. Все иные проявления свободы, на чем бы ни настаивали *проявляющие их* (то есть просто люди), будут рассматриваться как «ненастоящая свобода» — ведь настоящей провозглашается лишь та, которая связана по рукам и ногам, — а например, как остаточная дикость. Лучшие мыслители Европы тем не менее предостерегали от плоского понимания свободы — Гегель, Ницше и Хайдеггер были в их числе.

Вспомним лейтмотив гегелевской идеи подлинности, согласно которой свободный дух и разум не должны бояться потерять себя в абсолютной разорванности — в противном случае мы неизбежно будем иметь дело с агентом, подчиненным чужой воле. Или как резюмирует известный светский последователь Гегеля Евгений Линьков:

«Свобода состоит не в том, что я завишу от чего-то и знаю об этой зависимости, свобода в том, чтобы быть у самого себя в буквальном смысле слова! Но если уж человек не может быть исключительно у себя самого, а с необходимостью должен быть еще и в чем-то ином по способу наличного бытия своей жизни, в таком случае, будучи в ином, должен быть у себя самого»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Линьков Е. С. Лекции разных лет. Т. 1. СПб., 2012. С. 129.



Отсюда, среди прочего, следует, что свобода есть то, что нелегко *вынести*: нелегко и тому, кто сам свободен, и тем, кто имеет дело со свободным. И как раз по этому усилию или даже риску, необходимому для ее «перенесения», свобода и может быть опознана. На этот же аспект не устает обращать внимание и Ницше, говоря о великом умении и великом достоинстве «пить из неразбавленной чаши» — которая будет для кого-то всплеском максимальной жизненной силы, а кто-то другой, быть может, захлебнется этой чашей. Тот же Ницше и *сильное государство* определяет как способное выносить противодействие своих врагов и не замечать их. А значит, быть готовым к той непредсказуемости и опасности, которую несет в себе свобода, поскольку — и это напрямую пересекается с любимой строчкой Хайдеггера из Гёльдерлина (*das Rattende auch*): вместе с опасностью приходит также и спасительное. Хайдеггер бестрепетно усматривает свободу в брошенности и в неустранимой конечности человеческого существования, что вроде бы (но только на первый взгляд) идет вразрез с Гегелем и вообще вызывает вопрос «как же так?». Прийдемся по этому важному пункту еще раз.

\* \* \*

Итак, негативизм Достоевского, тот самый выверт, в котором свобода манифестирует себя как первое проявление и как последнее сопротивление обузданию, выступающему под псевдонимом упорядочивания, это тот вывод или, если угодно, аргумент, который не должен игнорировать ни один мыслитель, размышляющий о свободе.

И гегелевская абсолютная разорванность, которая обнаруживается даже тогда, когда единство самости и субстанции вступает в свои права. И этот яд в чаше причастия Заратустры, в истинном эликсире жизни, где передозировка может привести к смерти, и сверхчеловек как раз и есть тот, кто способен выдержать передозировку неразбавленной свободы. А полное обезвреживание, тотальная фильтрация напитка причастия, приводит к превращению его в сладкую патоку, в долгосрочное успокоительное, которое действует вплоть до наступления отложенной смерти. И заметим, что эта проблема выдержки и превышения дозировки, которая так же, как и проблема абсолютной разорванности, аутентична и для проявления, и для понимания свободы во всех возможных мирах.

И это бытие в опасности и в заброшенности, которое Хайдеггер называет единственно подлинным. Оно, это бытие, несомненно, кое-что обещает. Сохранение своих подлинных или, как говорит Мартин Хайдеггер, «наисобственнейших» возможностей, мудрость лесных тропинок, но оно, бытие в свободе, бытие-заново, ничего не гарантирует.

Сюда же мы добавляем и диалектику отложенного соблазна. В случае «тотального успеха», если удастся избавиться от всех непредсказуемых порывов, включая порывы духа, мы приближаемся к тепловой смерти, а в случае неуспеха тот же отложенный соблазн, достигая критической массы, превращается в бомбу времени (В. Гигерич), взрывается и сметает все постройки логоса, возведенные во имя покоя и безопасности. Быть может, поэтому здесь уместен иммунологический подход — стоит, например, рассмотреть идею прививки, микродозы соблазна как по отношению к индивиду, так и по отношению к обществу.

И именно в этом смысле глубокую обеспокоенность и мрачные предчувствия вызывает та беспрецедентная за несколько столетий цензура, которая свирепствует сейчас и в академической среде Запада, и в ведущих СМИ США и Европы. Пожалуй, ближайшим аналогом здесь является китайская «культурная революция», когда юные невеж-

ды заставили всех несогласных заткнуться. Но ведь и сегодня распоясавшиеся хунвейбины Калифорнии (и не только Калифорнии) беспрепятственно творят суд и расправу, а не пробужденные культурой пробуждения (воукизм) просто впадают в анабиоз.

\* \* \*

Теперь. Человечество разработало и опробовало несколько экзистенциальных технологий, которые и были применены с определенным успехом, если расценивать успех в рамках поставленных задач. По отношению к Европе стоит упомянуть две такие задачи: технологию счастья, разработанную в Греции (эвдемония посредством фронезиса), и экзистенциальную технологию спасения, на которую опирается христианство, — и эта идея удивительным образом связана с собственно «технологической технологией», или техникой постава (*Gestell*), как называл ее Хайдеггер. Однако не эта проблема нас сейчас интересует.

Сейчас нам важно отметить, что при достаточном разнообразии этического творчества и в удивительных экспериментах в отношении экзистенциального измерения так и не был решен и даже не был поставлен вопрос *бытия-к-свободе*. С декларациями, конечно, было все в порядке, провозглашать свободу в качестве величайшей ценности вошло в привычку еще во времена стоиков, но вот как с ней *совладать*, учитывая ее принципиально трансцендентный характер по отношению к дихотомии добра и зла, — тут не предложено ничего практического, ничего стоящего внимания, хотя именно здесь действующая экзистенциальная технология просто напрашивается. Однако вместо нее имеется то, что можно назвать совокупной стратегией противодействия свободе, и в осуществлении этой стратегии дисциплинарная наука с одной стороны и социальная инженерия с другой выступают в определенном симбиозе. Наука осуществляет экзорцизм свободы из мира объектов и заодно терпеливо объясняет, по какой причине в Академии наук заседают те или иные академики. А социальная инженерия осуществляет функцию связывания по рукам и ногам, фильтруя завихренные потоки и оставляя выборку, соответствующую девизу эпохи, — на сегодняшний день рекомендуемая к применения отфильтрованная жидкость имеет подпись на пузырьке: «Свобода — это инклюзивность». И все же сопротивление порабощению, обузданию сознания не прекращается. Отстаивание свободы в ее максимально возможной полноте есть, по сути, решающий участок сопротивления расчеловечиванию.

Мы можем сказать даже больше. Свобода есть всегда актуальная пробная версия мира, она важнейший и в то же время крайне опасный дар, справиться с которым нелегко. Человечество с ним пока не справилось. Стоящий теперь перед нами вызов — это переход к следующей, второй пробной версии, возможно последней.

Вердикт сегодняшнего дня однозначен: свобода под покрывалом как женственность под чадрой; как раз она, женственность, и является самым надежным критерием того, как обстоит дело со свободой в целом: каприз и соблазн, проникающие в мир через раскованную женственность, образуют передний край свободы.

И тогда вопрос: в каком же состоянии эта вторая возможная попытка застала мир после провала попытки первой, после пресечения контринъекции хаоса? Вкратце, с учетом (весьма избирательным) некоторых данных современной физики, дело обстоит следующим образом. Вначале имеется некая необузданность хаоса, представленная, например, как флуктуация виртуальных частиц или как спонтанное ветвление миров. Этот хаос постепенно обуздывается посредством внесения определенности, конечную фазу данного процесса мы знаем в качестве декогеренции. Вмешательство наблюдателя приводит к коллапсу волновой функции, и мы имеем дело с чем-то опре-

деленным: со светом как потоком частиц или со светом как волной. Но «естественная декогеренция» происходит и без нашего участия по мере того, как торжествуют причинно-следственные связи (эволюция от микромира к макромиру), то есть происходит связывание предшествующей разнуданности.

Далее. Во множестве перекрестных и случайных взаимодействий усмотреть эти самые каузальные связи не так-то и легко, возникает путаница, и особенно страдают последовательность и порядок причинения. Мы же почему-то всякую путаницу и «неустроенность» списываем на свободу, причем с радостью, с завистливостью от имени науки. Хочется спросить: «Доколе?», но долготерпения жрецов науки нам все равно не смутить, они рано или поздно докопаются до объяснения, что происходит на самом деле, когда мы говорим, что свободно поднимаем руку и по какой именно причине заседают тот или иной заседающий. Наука преуспела в создании той самой видимости, в соответствии с которой мы действуем принужденно — и пусть даже это *прикрытие закономерности*, этот «сверхдетерминизм», если использовать в несколько ином ключе термин Альтюссера, является фикцией. Однако назойливая фикция все же делает свое дело, вносит свой вклад в дезавуирование свободы на всех уровнях человеческого присутствия.

\* \* \*

Тем не менее ресурс сопротивления обузданию и связыванию не исчерпан. Вторая попытка реализации бытия-в-свободе запущена — и как это всегда бывает в делах свободы, у нее есть шанс, но нет гарантии.

Внесем коррективы в представленную картину и попытаемся сорвать покрывало паразитарного детерминизма. Итак, квантовый мир: его пульсации и флуктуации вполне могут стать онтологическим основанием свободы. Они беспричинны или допричинны, как клинамен Эпикура, они связываются и ограничиваются лишь по мере вхождения в природу-фюзис, но даже и тут у каждого объекта остается своеобразное право на клинамен, хотя в плотных слоях осуществленности, волновой функцией, как известно, можно пренебречь.

Что ж, отчасти благодаря квантовой механике, отчасти благодаря идее хронопоззиса мы теперь знаем, что волновая функция редуцируется на пороге макромира, но эта внутренняя пульсация свободы вновь восстанавливается, когда мы входим в очередной виток хронопоззиса — в семиозис, в мир дел человеческих и уж тем более в поле сознания. Сама суть сознания состоит в *принципиальной нередуцируемости* его «волновой функции», так что можно смело сказать, что наш (то есть его сознания) ближайший родич обитает где-то в мире квантовых флуктуаций, прочие же признанные родичи вроде приматов — это, так сказать, седьмая вода на киселе...

Вот что пишет по этому поводу Шеллинг:

«Единственное основание того, что мы не можем никогда освободиться от собственного Я, заключается в абсолютной свободе нашей сущности, в силу которой Я в нас не может быть предметом, вещью, доступной объективному определению. Вследствие этого наше Я никогда не может находиться в ряду представлений в качестве среднего члена, но всегда выступает перед каждым рядом в качестве его первого члена, служащего опорой всему ряду представлений. Поэтому действующее Я, будучи в каждом отдельном случае определено, тем не менее одновременно, поскольку оно избегает любого объективного определения и может быть определено только посредством самого себя, следовательно, есть одновременно определенное и определяющее»<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Шеллинг Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 69–70.

Тут, пожалуй, можно сказать, что Я существует в свободе как рыба в воде, но тогда сознание есть *сама вода*, свобода в качестве субстанции. Можно также смело, хотя и с удивлением, добавить, что прежде свобода встречалась лишь в своих манифестациях как подрывная сила всех субстанций, как угроза разрушения и дестабилизации любых стабильностей этого мира. Теперь же штормовые воды свободы порождают рыбу, способную в них жить. И рыба эта может жить только в таких водах. Так соотносятся Я и сознание, и весь диалектический аттракцион задействован в этом соотношении. Его описание, данное немецкой классической философией, до сих пор остается лучшим; в нем предпринята попытка описать свободу как стихию по ту сторону добра и зла, что возможно лишь при наличии главной добродетели философа — честности и точности самоотчета.

Честный самоотчет, следовательно, требует признать эту линию родства сознания в качестве ближайшей, хотя она и кажется предельно далекой. Вспомним визуальные метафоры души, их было немало: бабочка-мотылек (одна из самых частых сквозных метафор от китайской философии до русской поэзии), ласточка, упряжка коней — все они как-то передают порыв духа. Особенно бабочка благодаря своей трепетности, порханию и способности к метаморфозу.

И все же ближайшим родичем и тотемным животным всякой живой души может считаться кот Шрёдингера как безупречное зооморфное воплощение квантового мира. Что мы знаем о нем? Ничего такого, за что мы его могли бы ухватить, у него нет, но мы все же знаем, что пока он не пойман, тотемный кот сознания пребывает в суперпозиции «жив и мертв одновременно». Такова исходная свобода раннего мира и таков квант свободы в квантовом мире.

Расщепление этого кванта (в современной физике данная процедура называется Einselection — процедура решающего выбора) обозначает водораздел между этим и тем светом, границы квантовой реальности и макромира, в котором властвует механика бильярдных шаров, и граница эта усеяна трупами котов и кошек. Для перехода через нее должна быть выполнена процедура так называемой декогеренции, что вызывает распад кванта свободы. Сюда же относится и редукция волновой функции как следствие.

Продолжая метафору расщепления квантов свободы, можно сказать, что часть популяции диких котов была уничтожена, а часть — одомашнена. Тем самым мы поддержим тезис Ницше насчет приручения и одомашнивания человека — или человеческого в человеке как главного содержания всемирной истории. Тогда предельное уменьшение квоты свободы можно назвать ее, этой истории, итогом.

И все же непреложно пессимистический вывод был бы слишком поспешным. Мы ведь можем исходить из простого факта: сознание не угасло. В каждом человеке, поскольку он свободен, есть внутренний кот Шрёдингера, и тут мы можем вновь апеллировать к Достоевскому как к свидетелю. Кванты свободы уцелели, пройдя сквозь плотные слои воплощенности. Да, интенсивность излучения, несомненно, упала, что можно интерпретировать как нарастание порядка с одной стороны и дрейф в сторону тепловой смерти с другой. Но несмотря на массовую декогеренцию, образовавшиеся объекты, события и событийные центры сохраняют свой стохастический шлейф: они погружены в облако версий, какие бы усилия наука ни предпринимала, чтобы это облако дезавуировать и утвердить «видимость необходимости» и однозначности там, где при желании всегда просматривается остаточное ветвление и где подобно трассирующим пулям непрерывно расходятся в никуда цепи Маркова. А кванты (тут лучше назвать их фотонами), пробившиеся сквозь плотную материю, через царство бильярдных шаров, образуют мерцающее внутреннее ядро Я-сознания.

\* \* \*

Так, нередуцируемая волновая функция, неустраняемая неопределенность некоторым образом сберегаются в исключительно неблагоприятных условиях замурованности в тяжелую или ветхую материю (описываемую, в частности, механикой бильярдных шаров) словно бы для того, чтобы затем явить себя во всей красе как условия сознания и как человеческую свободу. Соответствующая метафора позволяет нам продолжить рассмотрение в спекулятивном ключе, когда вновь предстают перед нами «явленность во всей красе» с одной стороны и стыдливое репрессивное покрывало с другой.

В соответствии с духом метафоры возможно внутреннее различие между тем огромным, но все же промежуточным диапазоном, где, согласно Гераклиту, «природа любит скрываться», и познаваемым миром: мы теперь знаем, что кванты свободы прячутся в едва заметном стохастическом шлейфе и устремляются новой траекторией отрыва по линии восходящего сознания, где освобожденная природа решительно выходит из укрытия, и ее приходится укрывать принудительно, набрасывая покрывало закономерности или чадру необходимости. Остановимся еще на двух воображаемых укрытиях: одно касается дел человеческих, другое — спонтанности психических объектов.

Честь обнаружения первого укрытия принадлежит Бруно Латуру, создателю АСТ. Он выявил в среде вещей что-то вроде зачаточной свободы воли, которую можно назвать, например, потенциалом ответственного действия: выявил в самых простых объектах, где никто не ожидал найти что-либо подобное — так хорошо было наброшено покрывало. Казалось бы, вещи всего лишь вещи, а инструменты — это инструменты. Более того, усилия французского материализма XVIII века были направлены на то, чтобы приравнять человека к инструменту, к машине, лишив его тем самым иллюзии свободы воли, а согласно Марксу, в этом одновременно скрываются и суть отчуждения, и пафос освободительной борьбы всех трудящихся под девизом: я не вещь!

Тут-то и появляется на сцене Латур, чтобы заявить: а что вещь? Хорошо ли вы ее рассмотрели? Откуда ваша уверенность в том, что ее созидание и участие в бытии созидающего недостойно даже упоминания?

«Почему бы ни обратиться к чему-то еще, к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализуя или глобализуя взаимодействие. Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула. Разве они в буквальном смысле не образуют фрейм взаимодействия? Как можно подводить ежедневный баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг — и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Разве не эти вещи делают возможной тотализацию?»<sup>4</sup>

Участие вещей, а уж тем более инструментов в делах человеческих следует рассматривать не только в категориях подручного (Zuhanden) и противостоящего (Gegenstand), как это делал Хайдеггер, и уж тем более не только в категориях механики. Согласно Латуру, перед нами высокие договаривающиеся стороны, нам приходится иметь дело с самостоятельными актантами, которых мы вовсе даже не спешим благодарить или хотя бы запоминать. Вот и Слотердаик пишет, заходя с другой стороны:

«...имело бы смысл предположить, что и машины, представляющие собой личности, также могут работать лишь в условиях биполярного, мультиполярного существования и интеринтеллектуального параллельного соединения»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Латур Б. Об интерсубъективности // Социология вещей. М., 2006. С. 184.

<sup>5</sup> Слотердаик П. Сферы. Т. 1. Пузыри. СПб., 2005. С. 140.

Призыв повысить статус инструментов и просто вещей, более того, собранные Латуром свидетельства о том, что этот статус в действительности куда выше, чем мы привыкли думать, — значит ли это, что мы должны признать или допустить куда большую свободу объектов макромира? Пожалуй, что да. Коль скоро речь больше не идет о слепой подчиненности и действительно корректнее говорить о сотрудничестве с актантами, будь они водяными насосами или дверными доводчиками, мы вправе предположить, что между полной редукцией волновой функции, приписываемой бильярдным шарам и их собратьям, и свободой воли субъекта существуют, возможно, и некие промежуточные стадии. Прямое доказательство этому — статистический разброс или так называемый стохастический шлейф. Он отражает степень редукции волновой функции, но о полном тождестве с квантами свободы тут говорить не приходится, размазанность исходов, например, может свидетельствовать и о слишком неточной идентификации актора-деятеля. Одно дело бильярдный шар, другое — «среднестатистический мужчина», третье — картина Ван Гога.

И все же механистический уклон в объяснении феноменов природы и человеческого окружения есть некая константа, если угодно, константа трансцендентального субъекта. Тут вполне можно согласиться и с Достоевским, и с Бергсоном, и, например, с Ж. Симондоном, что познание, то, которое было принято в состав науки и практически слилось с самой наукой, «заточено» на стандартную предварительную обработку феноменов: предмет познания должен быть выхвачен и тематизирован как предмет (интенциональность), после чего он должен быть «ошкурен» от стохастического шлейфа. Или, говоря попросту, всякая познаваемая наукой закономерность должна стать «более закономерной», чем она есть в действительности. Декогеренция (редукция волновой функции), спонтанно выполняемая при пересечении порога фюзиса, должна быть усилена и дополнена зачисткой, в качестве которой и выступает познание.

Здесь проявляется и своеобразная диалектика: коль скоро природа любит скрываться, например, под покровом стохастического шлейфа, а познающие стремятся это покрывало с природы сорвать, то в отношении сознания дело обстоит противоположным образом: там непрерывно набрасывается покрывало для маскировки свободы... Так или иначе, наблюдательность Латура позволяет вывести природу из укрытия (из сокрытия), не спугнув ее при этом, хотя выводы самого Латура, скажем так, не совсем об этом. Итак, еще раз: объекты вокруг нас и тем более вещи из категории подручного — это не просто расходный материал и не просто точки приложения сил. И даже не разнородные участки сопротивления, которые во что бы то ни стало нужно преодолеть. Это некая странная истина вещей, их актуализуемое (для внимательных наблюдателей) поле, наполненное флуктуацией дружелюбности, равнодушия и враждебности. Наука не умеет регистрировать и отслеживать это поле, да и феноменология невнимательна к нему — разве что Хайдеггер оставил свои наблюдения на сей счет, и вот теперь Латур предлагает усматривать популяции и сообщества актантов там, где прежде регистрировались лишь стыковочные узлы функциональности.

Но обратимся к наблюдениям здравого смысла. «Сегодня все просто валится из рук» — действительно ли речь идет только о настроении (или настроении) субъекта, или, быть может, все же оценивается и состояние поля остаточных флуктуаций и зачаточной свободы воли? А если это так, то нам вновь остается лишь удивляться прозрению Лейбница: «Вместо того чтобы говорить, что мы свободны только по видимости... должно сказать, что мы только по видимости действуем принужденно». Раз уж покорные любой закономерности объекты при ближайшем рассмотрении оказываются не столь уж и покорными, то что уж говорить про индивида, пребываю-

щего в статусе субъекта: тут только пожизненно искривленное зрение бихевиориста усматривает причину заседания в академии в чем-то весьма далеком от свободы воли... Так что лучше полагаться на усмотрение мастера или на взгляд Dasein в его повседневной озабоченности. Мы видим, как бережно мастер относится к своим инструментам, и бережность эта далеко выходит за пределы простой функциональности. Всякий хозяин и всякая хозяйка уделяют толику заботы своей утвари, и солдат при каждом удобном случае чистит свое оружие. Ту вспоминается загадочное выражение Паскаля: «Попугай чистит свой клюв даже тогда, когда клюв чист»<sup>6</sup>. Но примерно так же хороший всадник холит своего коня, плотник «лишний раз» осматривает свой топор, и в том же порядке совершается великое множество действий по отношению к инструментам и вещам обихода. Наука без малейших колебаний списывает все это на суеверия, предрассудки, антропоморфизм и анимизм, но вот теперь, благодаря в том числе и Латуру, можно задаться вопросом: а нет ли тут каких-нибудь переговоров о дальнейшем сотрудничестве? Конечно, «переговоров» в кавычках, в зачаточном состоянии, ведь и сама свобода здесь присутствует лишь в зачаточном состоянии, так что лучше назвать ее способностью или готовностью к сотрудничеству, которая в случае полного небрежения может оказаться и готовностью к противодействию. Это хорошо вписывается в концепцию АСТ, согласно которой в строительстве каменного дома участвуют, пусть и не на равных и мастер, и мастеров, и отвес, и котелок с горячим супчиком, поджидающий рабочих. Так что всегда есть дружная — или не очень дружная — бригада, состоящая из человек и нечеловек.

Пафос Бруно Латура направлен на то, чтобы сбить спесь с этих самых «человек», поставить под вопрос самонадеянность и высокомерие субъекта, лишить его мнимой суверенности, а значит, и «иллюзорного» избытка свободной воли. Но возможно и иное толкование мира актантов, и это толкование возвращает им, вещам, тот остаточный диапазон свободных флуктуаций, который (как это теперь выясняется) все же не был окончательно перекрыт при переходе от хаоса к фюзису, в частности от мира элементарных частиц к миру бильярдных шаров. А то обстоятельство, что у науки нет к такому положению вещей никакого подхода, что она не может войти в положение беспокойных нечеловек, то это ее, науки, проблемы, и от того, насколько она сможет с ними справиться, зависит второй и, быть может, последний шанс мира удержаться в свободе. То есть проявить уважение к тому, что природа любит скрываться, не срывать покровы для получения голого детерминизма, а научиться любоваться прозрачными одеяниями в виде стохастических шлейфов и относительно самостоятельности актантов. А в отношении индивидов, напротив, перестать прикрывать вновь явленную миру свободу воли покрывалом, сшитым из сукна бильярдных столов.

\* \* \*

Стоит, пожалуй, рассмотреть еще один пример того, как легко отыскать закономерность, опровергающую свободу воли, как легко выдергивать и соединять друг с другом выборочные нити: и именно это обычно называют «открывать закономерности». Всякое более или менее убедительное ограничение свободы воли индивида претендует на роль открытия. Если, например, оказывается, что решение поднять руку принимаешь не ты, а кто угодно или что угодно за тебя, какая-нибудь команда, инструкция или даже *твой собственный мозг* (который в этом случае *не ты*), наука тут же вздыхает с облегчением: удалось объяснить необъяснимое. С необъяснимым

<sup>6</sup> Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2011. С. 75.

она, понятно, не может смириться — на то и наука, — а к свободе воли статус необъяснимого прикреплен наукой навеки.

Благодаря научной революции XX века квантовые флуктуации и спонтанное ветвление миров были допущены при условии, что они происходят за порогом строго каузальной вселенной. И похоже, что наука даже смирилась с этим скандалом, отделив квантовую реальность от нормальной реальности — но уж «нормальная реальность» есть плацдарм, за который наука готова сражаться до последнего. Поэтому физика, скажем, в упор не видит преемственности между квантовыми флуктуациями, существующими где-то там, в стране чудес, в Зазеркалье, и фазовыми переходами здесь, у нас под боком, переходами, сохранившимися — если, конечно, присмотреться — мерцающий характер флуктуаций в качестве подкладки. Относительно автономную роль актантов, описываемую АСТ, наука рассматривает как фигуру речи — да и мало ли какие причуды могут быть у философии? Что же касается проявлений индивида, его сознания и его психики, то здесь приветствуются любые попытки развенчания «мнимой свободы воли». Вот, например, сновидения. Казалось бы, неплохой образец спонтанного ветвления миров. Или «слабых шумов», исходящих от сенсориума, работающего на холостом ходу. Или пример образования суперпозиций, именуемых в психоанализе сгущениями.

Но разве может допустить такое рассудок, заточенный на поиски каузальных связей, или разум, настроенный на распознавание и извлечение смысла? Разум не может оставить сновидения просто так, они должны что-то значить, например, быть письмами судьбы, требующими расшифровки, или посланиями того или иного бога, с которыми тем более необходимо разобраться. Тут важно, чтобы смысл не был самоочевидным, важно обеспечить разум работой интерпретации; проблема, однако, в том, что эта работа неизбежно уклоняется в гиперосмысление, и всякая остаточная свобода (и свобода воли, разумеется) рассматривается как недоработка осмысляющих. Многочисленные практики толкования сновидений от античной Греции до средневекового Китая (включая и европейское средневековье, и альтернативную магию эпохи Возрождения) оставляли науку не у дел, поскольку явно были ближе к арканам Таро и астрологии, чем к парадигмам Галилеевой или Декартовой науки, так что более трех столетий столь лакомый кусочек оставался недоступным для гильдии ученых и для науки как их корпоративного занятия.

Ситуация изменилась с появлением «Толкования сновидений» Зигмунда Фрейда. Эта скандальная книга поначалу была воспринята в штывки физиологией и естествознанием в целом, но вскоре был сделан правильный вывод: за неимением лучшего эта версия очень даже подойдет. Конечно, являемые в сновидении скрытые мотивы бессознательного, побуждения и позывы либидо — все это не очень хорошо. Вот если бы снились муки совести или хотя бы появлялось по одной дохлой кошке из суперпозиции Шрёдингера... Но альтернативой расшифрованному Фрейдом языку сновидений оказывалось только спонтанное ветвление миров — а это гораздо хуже, это прямо-таки какой-то подземный источник свободы и необузданности. Поэтому психоаналитическая интерпретация была в итоге принята, ибо сновидения могли теперь являться под покрывалом. Пусть даже это одеяние, наброшенное на сон, поначалу казалось слишком неприличным, оно, по крайней мере, санкционировало психологический детерминизм и давало приемлемые объяснения: засыпающий покидает зоны ответственности сознания, но тут же попадает в другую зону ответственности, так что сны предстают как следствия неких причин или причины.

Правда, тогда должно было бы выполняться правило, что оргазм гарантирует сон без сновидений — ну или, по крайней мере, интенсивная сексуальная жизнь должна



способствовать этому. Подобное предположение, однако, не подтвердилось, на что коллеги и указали Фрейд почти сразу же после выхода «Толкования». Впрочем, если в психоаналитическом толковании снов есть доля истины, а она, несомненно, есть, подтверждение должно быть иным: должны происходить изменения, так сказать, спектрального состава сновидений, уменьшение сексуальной компоненты и увеличение каких-нибудь других. Проводились ли подобные эксперименты, мне неизвестно, но вполне достаточно того, что сны продолжали сниться, будучи по своему содержанию контрпримерами любой монополюющей трактовки смысла и причин сновидения.

Но как еще можно объяснить сновидения, если отказаться от приписывания им значения в принципе? Можно сказать, что в основе их лежит что-то вроде датчика случайных чисел (ну или генератора спонтанных образов), на который опирается сознание, а когда оно отключается, генератор продолжает работать на холостом ходу, выдавая в эфир фоновое ветвление миров. В этом ветвлении не только могут, но даже должны попадаться связанные фрагменты и даже целые спектральные линии. Причем некоторые из них прослеживаются также и сознанием, другие — нет (Фрейд, похоже, придерживался установки, что истинная причина и должна быть глубже всего скрыта). И все же трудно отделаться от мысли, что близкородственным процессом для такой работы на холостом ходу являются квантовые флуктуации — а это означает, что и сознание опирается на феномен свободы, что и оно, каким бы собранным и целеустремленным ни было, должно крутить барабан, а если барабан вдруг заест, то и само сознание угаснет.

Научиться быть в свободе — значит уметь ухаживать за питомником внутренних времен, где есть дикорастущие побеги, тоже рвущиеся к солнцу, к окну проживания, им нужно *позволить быть* (Lassensein), и индивид, культивирующий только товарные сорта времен, уже одним этим ставит под угрозу свою свободу.

Что ж, без всякого сомнения, со свободой можно переборщить, и есть предел ее выносимости. Работающее сознание так или иначе контролирует этот предел — и все же тотальный контроль ведет к обесмысливанию совокупного сознания. Человек может выпасть из восходящего потока времени — и разбиться. Или уцелеть в отвалах безопасного, отработанного времени, но уцелеть не как человек, а как антрацит.